

ГРИНБЕРГ Дж. Х.

# **ПРЕДЫСТОРИЯ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ И ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ**

В работе Гринберга [1, с. 332], посвященной классификации коренных языков Америки, высказано предположение, что родственные языки наименее крупной из трех выявленных здесь языковых семей, а именно, эскимосско-алеутской, находятся в Северной Азии и Европе<sup>1</sup>. Было постулировано наличие обширной группы языков, названной евразийской и предположительно включающей в себя следующие члены: 1) индоевропейский; 2) уральский; 3) юкагирский; 4) алтайский (тюркские, монгольские и тунгусские языки); 5) айну; 6) корейский; 7) японский; 8) нивхский; 9) чукотские языки; 10) эскимосско-алеутские языки. Внутри этой группы отдельные подгруппы составляют уральские и юкагирский, а также айну, корейский и японский.

Под сравнительной перспективой в названии данной статьи имеется в виду использование сравнительно-исторического метода при изучении языков этой евразийской группы, в данном случае — применительно к единому комплексу относящихся сюда проблем. Такие сравнения в определенных случаях приведут к переоценке нынешних представлений о фонологических и грамматических характеристиках праиндоевропейского, точно так же, как открытие хеттского и других анатолийских языков, а также тохарского привело к изменению определенной части наших представлений об индоевропейском, ранее в большинстве пунктов разлежавшихся широким кругом индоевропейцев. В других случаях это либо приведет к подтверждению прежних концепций, либо позволит выбрать одну из конкурирующих теорий. Наибольший же интерес, как мне кажется, представляет то, что это может привести к переоценке наших взглядов относительно тех явлений индоевропейского, которые почти не привлекали к себе внимания и казались маргинальными, но которые станут более понятными в свете новых сравнительных данных. В идеале мы надеемся, что учет внутригрупповых и внешнеязыковых данных поможет достичь дополняющих друг друга результатов. В данной работе, которая посвящена праиндоевропейской системе гласных, и в частности качественной апофонии, учет внешних данных приведет, по моему мнению, к переоценке внутриязыковых фактов индоевропейского и поможет сделать их более понятными с исторической точки зрения.

Отнесение индоевропейского к евразийской семье ни в коей мере не означает отрицания и его более отдаленных генетических связей. Указание на это отражено в самом названии подготавливаемой мною публикации «Индоевропейский и его ближайшие родственники: евразийская семья». Связь этого тезиса с другими гипотезами, предложенными раз-

<sup>1</sup> Данная статья представляет собой расширенную версию лекции, прочитанной в Стэнфордском летнем лингвистическом институте 28 июля 1987 г.

личными учеными, и особенно представителями влиятельной советской ностратической школы, будет кратко рассмотрена ниже. Более детальное обсуждение этого вопроса дается в готовящейся к публикации работе.

Хотя тезис о родстве евразийской семьи с индоевропейским, о котором говорилось выше, в целом является новым, он вместе с тем не представляет столь уж неожиданным. Уже имеется опыт многочисленных, преимущественно попарных, сравнений между языками, входящими в эту семью. Как я неоднократно указывал, начиная с самой ранней своей работы, посвященной классификации африканских языков [2], следует оперировать не отдельными гипотезами родства, а исторической таксономией языков, которая различает реальные группы на различных уровнях. Этот тезис аналогичен понятию таксона в биологии<sup>2</sup>. Так, германские языки или индоевропейские языки являются, согласно современным представлениям, реальными генетическими группами, или таксонами, тогда как группировка, включающая французский, албанский и шведский языки, таковой не является, хотя все эти языки родственны, так как они входят в индоевропейскую семью языков.

Это означает, что несмотря на то, какой бы хорошо изученной ни являлась та или иная языковая группа, было бы методически ошибочным просто искать какую-либо другую группу, с которой эта первая обнаруживает значительное сходство, а затем стараться «доказать их родство», сразу же принявшись за реконструкцию. Большинство общепризнанных языковых семей состоит более чем из двух ветвей, и с самого начала индоевропейских штудий в XIX в. индоевропейцы обнаружили, что наиболее продуктивным является изучение всех установленных групп путем всестороннего и одновременного сопоставления.

Что касается индоевропейского, то со времен Г. Мёллера были затрачены поистине огромные усилия, чтобы доказать его связь с семитским. Сейчас уже ясно, что семитский и индоевропейский, хотя в конечном счете и родственны, не образуют естественной лингвистической единицы, или таксона, в указанном выше смысле. Как результат признания этого факта многие попытки последнего времени были направлены на установление связи индоевропейского с более широкой афразиатской семьей, по отношению к которой семитские языки являются лишь одной из ветвей.

С другой стороны, внутри той группировки, которая определяется здесь в качестве евразийской, наибольшее внимание было сконцентрировано на связи между индоевропейскими и уральскими языками, главным образом благодаря масштабам уральской семьи, ее географической близости к индоевропейским языкам и наличию значительного числа специалистов, проделавших существенный объем сравнительной работы. Как и другие ученые, я считаю, что имеются основания *prima facie* для признания более близкой связи индоевропейских языков с уральскими, чем с афразиатскими. Если такой вывод справедлив, то сразу же возникает вопрос, какие другие языки, помимо уральских, восходят вместе с индоевропейским к общему предку и образуют с ним реальную генетическую единицу, только отдаленно связанную с афразиатской и, возможно, другими семьями.

Ряд видных лингвистов указывал на уральские языки как на наиболее близкие к индоевропейским. Особого внимания в этой связи заслуживает оценка взглядов Х. Педерсена, который создал термин «ностратические

---

<sup>2</sup> Более полное изложение см. в [1, гл. 1].

языки». Никто из других ученых, каким бы выдающимся он ни был, не может считаться большим авторитетом в этой области. Поскольку Х. Педерсен более, чем какой-либо другой ученый, был занят проблемой внешних связей индоевропейских языков (а многие лингвисты догматически исключали обсуждение этого вопроса), его взгляды заслуживают внимательного изучения.

Я кратко рассмотрю четыре известные мне публикации Х. Педерсена, в которых он обсуждал этот вопрос. Мне кажется, в дальнейшем станет очевидно, что моя гипотеза, возможно, более сближается с его взглядами, чем гипотезы ряда ученых, называющих себя ностратиками.

Термин «ностратические языки» был введен Х. Педерсеном в 1903 году в статье, посвященной звуковым законам турецкого языка [3]. Касаясь некоторых сходств турецкого языка с индоевропейским, он пишет, что для их объяснения необходимо иметь в виду возможность языкового родства. Многие языковые семьи в Азии, по его мнению, родственны индоевропейскому. В этой связи он упоминает урало-алтайские языки, которые в то время обычно считались одной семьей. Затем для всех языков, родственных индоевропейскому, он вводит термин «ностратические». Х. Педерсен не перечисляет этих языков, но добавляет, что сюда следует отнести и хамито-семитский. В 1924 г. в книге, написанной на датском языке и переведенной на английский в 1931 г., упор делается на связи индоевропейского с финно-угорским. Педерсен утверждает, что эта связь является более тесной, чем между индоевропейским и семитским. «Кроме того, большую близость, чем в случае с семитскими, демонстрируют системы флексий». Хотя имеется и немного общих лексических единиц, все же «отрицать родство между этими семьями было бы слишком опрометчивым». Более того, «если мы признаем факт родства, нам следует идти дальше, не только к самодийским языкам, которые нельзя отделять от финно-угорских, но и через всю Северную Азию и Берингов пролив, поскольку сходные, хотя и менее очевидные черты, подобные уже упомянутым здесь, обнаруживаются также в тюркских, монгольских и маньчжурских языках, в юкагирском и даже в эскимосском». Далее в этом ряду он упоминает семито-хамитские языки «и, возможно, баскский» [4].

В 1933 г. Педерсен опять подчеркивает связь индоевропейских языков с финно-угорскими (уральскими). «Между ними имеется сумма соответствий, которая исключает случайность» [5, с. 309]. Постулируя более близкую связь индоевропейских языков с уральскими, он высказывает следующую мысль, которая представляет значительный интерес с точки зрения темы настоящей работы: «Вероятно, финно-угорский должен быть сопоставлен с индоевропейским на его постаблаутной стадии, тогда как с семитским его следует сближать на предаблаутной стадии. Из этого следовало бы, что разделение индоевропейского и семитского относится к более древнему периоду, чем разделение индоевропейского и финно-угорского» [5, с. 308]. К сожалению, он не уточняет деталей, например, имеется ли в виду качественный или же количественный аблаут, либо и тот, и другой.

Наконец, Педерсен еще раз подчеркивает, что «между уральским и индоевропейским существует более близкое родство, чем между семитским и индоевропейским» [6, с. 330]. Относительно первой пары языков в области грамматических элементов «трудно найти другой пример столь полного соответствия». Он опять упоминает о возможности соответствия между аблаутными системами индоевропейского и уральского. Здесь Педерсен более конкретен, чем ранее, так как он, без сомнения, имеет в виду качественный аблаут. Более того, по его мнению, передне-заднерядная гар-

мония гласных в уральском является инновацией. Тем не менее имеется много других случаев вокалических альтернатив, которым не было найдено объяснения внутри уральского, и коль скоро такое положение сохраняется, «нельзя исключать возможности нахождения следов аблаута, который был бы тождествен индоевропейскому» [6, с. 332].

Я считаю, что исходя из этих утверждений Педерсена, было бы справедливым заключить, что он представлял себе индоевропейский как язык, особенно близкий к уральскому (в более ранних работах — последний назывался финно-угорским), и что в целом более близких родственников индоевропейского следует искать в Восточной Азии (алтайские, юкагирский и даже эскимосский языки).

Помимо Педерсена, и другие лингвисты указывали на особенно тесное родство индоевропейского с уральским. Так, Анттила в своем известном учебнике по исторической лингвистике после упоминания индосемитского, индоуральского и урало-алтайского констатирует: «Индоуральская гипотеза является особенно убедительной, поскольку имеются надежные соответствия как в местоимениях и глагольных элементах, так и в основном словаре» [7]. Совсем недавно Каугилл выразил уверенность в том, что из языковых семей, с которыми сравнивался индоевропейский, наиболее близкой представляется уральская семья. Он отмечает, что основные соответствия наблюдаются в местоименных основах, окончаниях и лексических единицах [8].

Сам Иллич-Свитыч в статье, которая появилась лишь тремя годами ранее выхода первого тома Сравнительного словаря ностратических языков и касалась вопроса о ранних индоевропейско-семитских языковых контактах, утверждает, что в «Сравнительном индоевропейско-семитском словаре» Мёллера наряду со многими фантастическими этимологиями имеется небольшое число довольно вероятных сравнений, однако они относятся к части лексикона, наименее пригодного для доказательства генетических связей [9, с. 3]. Он заключает, что поскольку некоторые из них обнаруживаются, помимо семитских языков, и в других ветвях афразийской семьи, то индоевропейский не мог быть источником заимствования, и что эти сходжения являются результатом заимствования из семитского в индоевропейский [9, с. 9].

Иллич-Свитыч, очевидно, отвергал точку зрения, согласно которой все сходжения обязаны заимствованию, и я разделяю его убеждение в том, что индоевропейский и афразийский действительно родственны; однако его более ранние выводы подтверждают представленную здесь точку зрения о более отдаленной связи индоевропейского с афразийским, чем связи с некоторыми другими языковыми семьями, включая уральскую.

Вопрос, поднятый Каугиллом, заслуживает с этой точки зрения дальнейшего обсуждения. Утверждая, что среди рассматриваемых им гипотез, касающихся индоевропейского, гипотеза, связывающая его с уральским, наиболее вероятна, он тем не менее полагает, что родство это является очень отдаленным, на что в особенности указывает отсутствие родственных связей в системе числительных. Стабильности числительных в индоевропейском, которой нельзя обнаружить во многих других хорошо изученных языковых семьях, было придано непомерно большое значение. Учитывая культурный уровень, соответствующий эпохе протоевразийского, невозможно ожидать стабильности числительных выше «четырех» или «пяти». Тем не менее, если мы рассмотрим числительные евразийских языков без учета уральских, которые в данном случае, на мой взгляд, не проявляют особого родства с индоевропейскими, то вырисовывается совершенно

иная картина. Имеются важные свидетельства близости числительных «один» и «два» «и», возможно, также «три», что видно из следующего.

В айну находим корень *set* «как, подобно, такой же». Этот корень со сходным значением встречается и в индоевропейском [10, с. 902], но наряду со значением «такой же» в таких языках, как греческий, армянский и тохарский, он имеет значение количественного числительного «один». В корейском находим *oj* «только», которое можно сравнить с широко распространенным индоевропейским корнем со значением «один», а именно *oi-* с различными суффиксами [10, с. 286]. Корейское слово идентично по значению греч. *oi-(os)*, кипр. *oi-w-(os)* и авест. *aeva* «один, только, единственный». Как в айну, так и в корейском обнаруживается *tu* «два», которое, несомненно, идентично основе общеиндоевропейского слова со значением «два» [10, с. 228], если принять во внимание начальное *t* в тех языках, в которых нет *d*. Возможно, сюда же следует отнести тунгус. \**jur* (в котором *r* — показатель мн. ч.), ороч. *ju*, орок. *du*, маньчжур. *juwe* [11].

В алеутском имеется *ala-k* в значении «другой; два» (*-k* является окончанием двойственного числа; ср. уральские языки); в языке юитских эскимосов Сибири находим *alak* «второй», у юитских эскимосов Аляски *alla* «другой»; в айну *ara* «один из двух» (в айну отсутствует *l*), в чукотском *al m* «один из пары, парная вещь»; *alvan* «иначе», в амурском нивхском *alw-erg*, в сахалинском нивхском *al af* «позади, на другой стороне». Первое из указанных нивхских слов является сложением, второй член которого, *erg*, означает «сторона», а слово, следовательно, значит «другая сторона». Второе же слово содержит обычный локативный суф. *-f*.

Эти формы, несомненно, нужно сопоставить с праи.-е. \**al-* «другой», которое обычно выступает с предположительно суффиксальным *-i*, как в лат. *ali-us*, греч. *allo-s* < \**alios*. Индоевропейская форма без суффикса позднее была зафиксирована в тохарском А. Лидийское *ala-* также может содержать основу *al-*, при условии, что лидийский знак, транскрибируемый как *λ*, представляет велярный, а не палатальный латеральный (ср. [12]).

Мы можем, видимо, упомянуть также айнск. *re* «три». Эта форма обнаруживается у Бэчелора [13] и во всех других более ранних источниках. Однако у Добротворского находим ряд айнских слов, начинающихся с *tr-*, которые в более поздних транскрипциях передаются с *r-* [14]. Работа Добротворского является большим лексикографическим собранием, состоящим в основном из его собственных записей на Сахалине, а также и из всех доступных ему более ранних источников. Справедливости ради следует отметить, что *tr* не встречается с полной последовательностью, и наличие слов с начальным *tr-* подвергалось Бэчелором сомнению.

Уместно привести ряд других наблюдений, касающихся родственных связей и группировок евразийских языков. Алтайская группа описывается здесь в «традиционных» терминах, как состоящая из трех ветвей — тюркской, монгольской и тунгусской. Анализ этимологий Поппе, который включает сюда и корейский, показывает, что последний встречается в сопоставлениях гораздо реже, чем другие ветви, что и отмечено в работе [15]. Даже Рамстедт, автор гипотезы о принадлежности корейского языка к алтайской языковой семье, констатирует, что хотя «корейский язык и является алтайским языком, он тем не менее обнаруживает много общего с айнским и японским, которые имеют общее происхождение» [16, с. 104]. В работе Патри, посвященной генетическому положению айнского языка, последний сначала сравнивается с японским и корейским, а затем с собственно алтайскими языками, в результате чего делается вывод о большей

близости айнского языка с японским и корейским, чем с алтайскими языками [17]. Этот вывод согласуется с положением, выдвинутым в начале этой статьи, согласно которому айну, японский и корейский образуют отдельную группу внутри евразийской семьи и не являются алтайскими в обычном понимании этого термина.

Для читателей будет естественен вопрос о том, какова связь между евразийской гипотезой и ностратической теорией. Если под последней понимается родство между шестью языковыми группами, обычно объявляемыми «классическими» ностратическими, то тогда никакого противоречия нет, и я с этим согласен. Более того, корейский язык включен в этимологический словарь Иллич-Свитыча, хотя и в качестве алтайского. Все языки, включенные мною в число евразийских, считаются ностратическими. Еще в 1964 г. Долгопольский характеризовал чукотский язык как «вероятно алтайский», хотя он и не включал его в свои сопоставления [18]. Кроме того, в круг привлекаемых языков Долгопольский включал также юкагирский, который особенно близок к уральским языкам. В своем введении к Ностратическому словарю Иллич-Свитыч относительно юкагирского отмечает, что хотя работы Коллиндера, Анжера и Тайёра и не позволяют считать юкагирский уральским языком, они все же дают основание предполагать его ностратический характер [19, с. 61].

Я считаю, что этот вывод согласуется с работами упомянутых Иллич-Свитычем ученых, которые определенно утверждали, что юкагирский не является уральским языком, а скорее родствен уральской семье в целом.

В редакторском примечании к только что цитированному отрывку из Иллич-Свитыча Дыбо добавляет, что подобные же замечания, вероятно, уместны и применительно к корейскому и японскому языкам в их отношении к алтайской языковой семье. Долгопольский при сопоставлении личных местоимений привлекает не только чукотский язык, но также и нивхский [20]. Шеворошкин и Марки, говоря о работе Мудрака, пишут, что ностратическими, вероятно, могут считаться также и эскимосско-алеутские языки [21].

Таким образом, все группы языков, включаемые здесь в число евразийских, за исключением айнского, с большей или меньшей степенью уверенности относят к ностратическим. То, что сюда должен быть включен и айнский ввиду его особой близости к корейскому и японскому, следует, как я полагаю, из работы Патри, упомянутой ранее. Даже Рефсинг, явно весьма консервативный в этих вопросах, в своей айнской грамматике осторожно поддерживает выводы Патри [22].

Но здесь возникает и противоположный вопрос. Какие языковые группы, включенные в ностратическую семью, исключаются из евразийской? Я ни в коей мере не отрицаю родства этих групп, а именно афразийской, картвельской и дравидийской, однако считаю это родство более отдаленным. Мы уже видели, что Педерсен придерживался взглядов, согласно которому афразийская семья языков более отдаленно родственна индоевропейской, чем уральская. Шеворошкин, ведущий представитель ностратической школы в США, недавно выразил свое согласие с этим моим выводом (устное сообщение). Долгопольский в этой связи даже не упоминает дравидийских языков ни в своих ранних, ни в более поздних работах. Единственное сомнение остается у меня в отношении картвельской семьи, которая, однако, разделяет ряд специфических черт в словаре и грамматике с афразийскими. Таким образом, если эти, как, без сомнения, и другие языки, не являются евразийскими, но связаны с последними более глубоким уровнем родства, тогда за всеми этими языками мог бы быть за-

креплен традиционный термин «ностратические» языки. В таком случае первостепенной задачей является выявление всех членов и подгрупп очерченной таким образом ностратической семьи.

Как мы уже убедились, представление о ностратических языках как о семье, ограниченной лишь шестью группами — индоевропейской, афразиатской, уральской, алтайской, картвельской и дравидиской, — на самом деле основывается на ностратическом словаре Иллич-Свитыча (если не считать редкие в его работе ссылки на корейский язык, привлекаемый в качестве языка алтайской семьи). Более того, это не соответствует ни действительным убеждениям ностратиков, ни убеждениям создателя термина «ностратический» Х. Педерсена. Почему же в таком случае сюда не были включены другие языки? Ответ на это, как и подтверждение моего взгляда на ностратические языки как на семью, состоящую из большего числа членов, чем те, которые входят в словарь Иллич-Свитыча, можно найти в утверждении двух ностратиков, Чейки и Лампрехта. После обсуждения работ Педерсена и Иллич-Свитыча они пишут относительно шести языков, приводимых в сравнительном словаре последнего, следующее: «Очевидно, что это не означает того, что число ностратических семей в мире безусловно ограничено шестью упомянутыми семьями. Иллич-Свитыч в своих обобщениях использовал только те языковые семьи, прогресс в изучении праязыковых состояний которых достиг удовлетворительного уровня» [23].

Иными словами, первым условием для включения какой-либо семьи в число ностратических фактически является наличие ее праязыковой реконструкции. Однако соблюдение этого условия ведет к произвольной группировке. Если рассматривать классические ностратические языки в качестве реальной языковой группы в том смысле, о котором говорилось выше, то включение в нее тех или иных языков зависело бы от воли лингвистов, а не от самих языков.

Хотя подобного взгляда на необходимость сравнения только лишь праязыков придерживаются достаточно широко, он не согласуется с реальной практикой индоевропейцев или исследователей ряда других семей, например, афразиатской. Праиндоевропейский был реконструирован ранее таких единств, как прагерманский или праславянский. Действительно, реконструкция германского праязыка вне соотношения с другими родственными группами является неполной, поскольку, например, консонантные альтернаты праиндоевропейского языка, в соответствии с законом Вернера, объяснимы лишь в терминах реконструированной индоевропейской акцентной системы, которая в собственно германском была утрачена. Индоевропейцам не потребовалось предварительной реконструкции «праалбанского» путем сравнения тоскского и гегского диалектов, прежде чем вовлечь албанский в общую систему индоевропейских сопоставлений.

Кроме того, при восстановлении праязыка иногда наблюдается тенденция объяснять те или иные факты неправдоподобными внутренними реконструкциями или же просто игнорировать различные нерегулярности, которые оказываются интересными и объяснимыми в более широком историческом контексте.

В ностратике одним из подобных случаев является исключение из числа ностратических языков юкагирского, что критикуется и самими ностратиками. В дополнение к двум вымершим диалектам (чуванскому и омокскому), известным лишь по несовершенным записям, имеется два очень близких юкагирских диалекта — колымский и тундровый. Ясно, что нет нужды реконструировать праюкагирский, прежде чем сравнивать его с

другими языками. Помимо работ ностратиков, в трудах таких лингвистов, как Коллиндер, Боуда и Уленбек, приводились многочисленные, преимущественно попарные, сравнения между языковыми группами или же между явно изолированными языками Евразии. Тем не менее, большинство пар языков никогда между собой не сравнивалось. Языки, которые в подобных исследованиях чаще всего игнорировались, включают алеутский, который никогда не сравнивали ни с каким языком, кроме эскимосского, а также юкагирский, который сравнивался лишь с уральскими языками. Всестороннее и обстоятельное исследование, при котором в сравнение вовлечены все исследуемые языки, сразу же дает плодотворные результаты, как это случилось с индоевропейскими языками, когда все они были включены в сравнительное исследование данной языковой семьи.

В работах, готовящихся к печати, я рассмотрел специфические проблемы индоевропейского как во внутриязыковом, так и внешнеязыковом аспектах<sup>3</sup>. В настоящей статье я исследую определенные аспекты индоевропейской вокалической системы как в рамках индоевропейской семьи, так и в более широком сравнительном контексте.

Поскольку основные параметры этой системы хорошо известны читателям, имеющим индоевропеистическую подготовку, и достаточно подробно обсуждались как в учебниках, так и в специальных монографиях и статьях, нет необходимости излагать всю систему полностью. Тем не менее я перечислю ряд важных ее положений, которые здесь будут рассмотрены специально, отмечая их примерно в том порядке, в котором они будут обсуждаться.

1. Согласно традиционному младограмматическому подходу, в значительной степени сохранившемуся до настоящего времени, гласные *i* и *u* являются в индоевропейском не настоящими гласными, а относятся, вместе со своими консонантными аллофонами, к классу сонантов, наряду с *ɾ*, *l*, *m* и *n*. Таким образом, можно постулировать пары *i* : *y*, *u* : *w*, *ɾ* : *ʀ* и т. д. Точно так же, как *ɾ* и *ʀ* представляют собой нулевую ступень *er* ~ *or*, в соответствии с процессом качественного чередования *e* ~ *o*, так и *y* и *i* являются нулевой ступенью *ei* ~ *oi* и сходным образом *w* и *u* — суть нулевые ступени *eu* и *ou*<sup>4</sup>.

2. Отношение между *ei* и *oi*, с одной стороны, и *i* ~ *y*, с другой, именуется количественным аблаутом и является параллельным альтернативе *e* : *o* с нулем, типичной для безударной позиции. Здесь возникает вопрос о хронологическом соотношении между качественным и количественным

<sup>3</sup> В подготовленной мною к публикации работе «Некоторые проблемы индоевропеистики в исторической перспективе» рассматриваются, во-первых, евразийские формы, родственные и.-е. *egʰot* «я», особенно чукот. *eyət* ~ *iʷət* «я», ср. в этом же языке *eyət* ~ *iʷət* «ты», и, во-вторых, показатель 3 л. мн. ч. и единичности -*ɾ*, а также историческое развитие родственных форм в других группах евразийских языков. Темой подготовленной к печати работы «Относительные местоимения и порядок слов в свете евразийской гипотезы» является интерпретация и.-е. *i*-(*os*) в качестве первоначально вопросительного, а не относительного или указательного местоимения и следствия такой трактовки для реконструкции праиндоевропейского порядка слов, который следует восстанавливать с учетом отсутствия относительного местоимения.

<sup>4</sup> Помимо этого, были установлены такие последовательности, как \**ɾɾ*, \**ʷ* и т. д., которые на самом деле выступали как сочетания какого-либо краткого гласного плюс *ɾ*, *l* и т. п., в зависимости от языка. Делались попытки объяснить это так называемым законом Зиверса — Эджертона, согласно которому данные последовательности имели место в случае, если им предшествовал тяжелый слог. Я не рассматриваю здесь этот вопрос, хотя, по моему мнению, подобные случаи, когда начальный комплекс указанных последовательностей был интерпретирован Гюнтертом и Хиртом как *schwa secundum*, представляют собой проблему, отличную от обсуждаемой здесь проблемы «редуцированных ступеней» таких гласных, как *i* по отношению к *e* и *u* по отношению к *o*



аблаутом, а также, применительно к данному контексту, о том, имеют ли оба эти явления свои соответствия в других ветвях евразийской семьи, что свидетельствовало бы в пользу отнесения их еще к прайндооевропейскому состоянию, унаследованному от протоевразийского предка.

3. Мы исследуем также специфическое типологическое положение фонемы, традиционно реконструируемой в виде праи.-е. *\*a*. Примечательной в этой связи является ее сравнительно редкая частотность, которая еще более понижается, если, согласно ларингальной теории, мы исключим многие случаи представленности *a*, обусловленные влиянием соседнего ларингала (*H<sub>2</sub>*). Другая специфическая особенность этой фонемы — неучастие в индоевропейской системе вокалических альтернатив. Все это служит подтверждением маргинальной позиции данного гласного, который, исходя из типологических оснований, должен был бы характеризоваться высокой частотностью и важной функциональной ролью в системе гласных.

Меня в данном случае больше интересует первый аспект, а именно, традиционная младограмматическая трактовка *i* и *u* в качестве сонантов и, следовательно, их полная параллельность *r*, *l*, *m* и *n*. Если принять эту доктрину, то чередование между *i* и *e* или между *u* и *o* станет не более объяснимым, чем, скажем, между *r* и *e* или *r* и *o*.

Такое представление ясно выражено в первой, насколько мне известно, книге, посвященной всестороннему обсуждению праиндоевропейской системы вокализма в трактовке ее Бругманом и его коллегами, а именно, в монографии Хюбшмана, в которой он отчетливо заявляет следующее: «... *i* и *u* являются всего лишь согласными и не могут встречаться в никакой аблаутной серии, за исключением чередования с *y* и *w*. Они никогда не утрачиваются. В случае, если в какой-либо серии они появляются в качестве гласных, их возникновение обязано какому-либо вторичному процессу» [24].

Основанием для заключительной фразы послужило то, что Хюбшману было известно достаточное количество примеров, особенно в греческом, славянском и балтийском, а также и в древнеиндийском и латинском, когда *i* одних языков чередуется с *e* в других языках, например, слав. *izъ < jizъ < \*izъ* = греч. *eks* «из». Ср. также чередование *e / i* между диалектами одного языка (аттич. *hestia* «очаг» = *histia* в других греческих диалектах), либо, наконец, внутри одного диалекта (например, ц.-слав. *večerŭ* «вечер», *vičera* «вчера»). Имеются и примеры чередования *u* с *o*.

Большое недоумение среди специалистов вызывал факт чередований *i ~ e* и *u ~ o*, которые, несомненно, противоречат фундаментальному положению, согласно которому *i* и *u* являются простыми сонантами, а не частью праиндоевропейской вокалической системы. Я приведу в этой связи ряд замечаний, которые возникли у меня в процессе исследования.

Касаясь греческих форм на *i* и *u* вместо ожидающихся *e* и *o*, Гюнтерт отмечает: «Эти слова всегда представляли истинную дилемму (eine wahre Stix) для научного лингвистического исследования» [25, с. 28—29]. Кречмер, опять-таки в связи с греческим, пишет, что «можно обнаружить следы неакцентуированных гласных, природа которых до сих пор остается совершенно загадочной (rätselhaft)» [26]. Во втором издании Grundriss'a Бругман, также в отношении греческого, замечает, что «во многих формах *i* появляется там, где ожидалось бы *e*, и все еще нет никакой возможности удовлетворительно объяснить это *i*» [27, с. 119]. Относительно славянских языков Лескин в древнеболгарской грамматике отмечает, что «чередование между *u* и *o* является неясным» [28]. Зени в сравнительной грамматике

литовского языка утверждает: «Одним из наиболее обычных отклонений (Entgleisungen) в I аблаутной серии является появление ступени *-i-* без участия плавного или назального» [29].

Относительно и.-е. *\*eghs* «из», в котором греческое и латинское *e* соответствует славянскому и балтийскому *i*, стандартный индоевропейский сравнительный словарь Покорного содержит упоминание о славянских и балтийских формах, имеющих «трудно объяснимое *i*» (mit schwierigem *i*) [10, с. 28]. Касаясь внутриславянской диалектной вариации в числительном «четыре» (*četyre* и *čityre*), Мейе пишет, что «было бы неосторожным делать из этого какие-либо выводы» [30].

В своей сравнительной грамматике греческого языка Швицер признает не только чередование *i ~ e* в греческом, но также и *u ~ o*, отмечая, что эти чередования часто соответствуют аналогичным чередованиям в славянских языках [31].

В индоиранском отмечаются случаи чередования *i* с *a* < *\*e* или его соответствие *e* в других группах индоевропейских языков. Гамкрелидзе и Иванов приводят скр. *śiras* «голова» как родственное греч. *keras* «рог», а также варианты формы *śikvan* и *śakvan* (< *\*sekvan*) «умный». Эти формы, согласно авторам, «содержат *i* неясного происхождения» [32, с. 259]. Другим санскритским примером является *sama* «подобный» и *sima* «каждый» (ср. цитировавшееся ранее айнск. *sem* «один»). Внутри индоиранского авест. *-cina*, которое образует неопределенные, обобщающие местоимения и которое родственно скр. *cana* (< *\*-cena*), мы рассмотрим ниже.

Тем не менее в более недавнее время, начиная, по-видимому, с Куриловича [33], мы обнаруживаем, что ряд видных индоевропейцев, помимо *i* и *u*, которые являлись нулевыми ступенями *ei* и *eu*, признает и существование автономных *i* и *u*. К их числу относятся Семереньи [34], Гамкрелидзе и Иванов [32], а также Майрхофер [35]. Семереньи формулирует это следующим образом: «Исходя из наблюдения, что *i* и *u* часто представляют собой нулевую ступень *ei* и *eu*, предполагается, что *i* и *u* всегда являют собой нулевую ступень упомянутых выше последовательностей» [34, с. 71]. Поскольку это, конечно же, не так, данное мнение, как считает Семереньи, придает нам ложное чувство успокоенности.

Помимо Семереньи, Шмид-Брандт [36] и другие ученые указывали, что многие примеры с *ei* предполагают ранее независимое *i*, а *e* возникло по аналогии, и то же следует допустить для *u* в составе *eu*.

Если на самом деле существовали независимые фонемы *i* и *u*, то исходя из типологических оснований, следовало ожидать их достаточно высокую частотность (особенно в отношении *i*), и, возможно, также их участие в системе качественных альтернатив. Аблаутная ступень *e* : *o* в таком случае являлась бы лишь одним из чередований внутри более обширной системы, которая уже в праиндоевропейский период распространилась по аналогии и частично грамматикализовалась (например, *e*-основы презенса vs. *o*-основы перфекта), тогда как другие ступени сохранились лишь маргинально и sporadически.

Совершенно очевидно, каковы были бы эти чередования с участием *i* и *u*, поскольку мы уже встречались с примерами чередований *e ~ i* и *o ~ u*. До того времени, когда, начиная с Куриловича, стали предполагать независимый статус *i* и *u*, эти чередования трактовались двояким образом. С одной стороны, они либо игнорировались, либо делалась попытка объяснить их взятыми ad hoc фонетическими изменениями, ср., например, трактовку Бругманом «аномального» *u* в греч. *níks* «ночь» вместо *o* во всех других случаях, объясняемого лабиовелярной артикуляцией *k* [27, с. 598].

С другой стороны, начиная с Гюнтерта, некоторые индоевропеисты установили наличие чередования как между *i* и *e*, так и между *u* и *o* [25]. Гюнтерт и его последователи рассматривали *i* и *u* как редуцированные формы соответственно *e* и *o* в безударной позиции. Таким образом, они предполагали наличие дополнительной редуцированной ступени между полной и нулевой. В терминологии Гюнтерта эти редуцированные элементы серии кратких гласных были названы *schwa secundum*, в отличие от общепринятого *schwa* (инд.-иран. *i* vs. рефлексы праинд.-е. \**a* в других группах), которое являлось нулевой ступенью долгих гласных и было названо *schwa primum*. Наиболее видным представителем теории *schwa secundum* был, несомненно, Хирт, однако и другие индоевропеисты, как, например, Мейе, предполагали наличие разновидности редуцированной ступени.

Кроме того, если мы допустим существование независимых *i* и *u*, которые на самом деле, согласно предположениям сторонников теории *schwa secundum*, чередуются, соответственно с *e* и *o*, то становятся ясными случаи вторичных *ei* и *eu*, в которых *e* появляется благодаря поздним аналогическим процессам, как это было предложено, в числе других ученых, Семереньи и Шмидт-Брандтом.

Возьмем в качестве примера *i* и рассмотрим общеизвестное чередование *e* ~ *ei*, а также чередование исторически независимого *i* в ступени *e* : *i* (оно теряло качество перед сериями, содержащей чередование *e* : *o*). Можно обнаружить, что при этих условиях *e* участвует в обоих чередованиях, и поэтому естественно будет ожидать, что *e*, первоначально чередовавшееся с *i*, в значительном числе случаев заменяет *i* более обычным и распространенным *ei*.

Можно, наконец, спросить, есть ли аргументы в пользу того, что в альтернативах *i* : *e* и *u* : *o* *i* и *u* представляют собой редуцированные гласные. Вначале следует отметить, что, как утверждает Бальди, «у нас нет достаточной уверенности относительно первоначального места ударения во многих формах» [37]. Тем не менее несколько ясных случаев, относительно которых можно уверенно утверждать акцентуированность *i*, все же имеется. Поэтому наиболее вероятным выводом является то, что исходные *i* и *u* были попросту нейтральны в отношении индоевропейского акцента и могли быть как ударными, так и безударными. Ниже мы рассмотрим возможность и такой трактовки, согласно которой *i* и *u* в безударной позиции в ряде случаев переходят в нулевую ступень.

Среди примеров, в которых надежно восстанавливается ударный *i*, можно указать на вопросительное местоимение \**kwi*-, приводимое Гамкрелидзе и Ивановым в связи с наличием в нем исходного *i*, по поводу которого Семереньи риторически вопрошал: «Однако каким образом сильно акцентуированные местоимения *kwis*, *kwid* можно считать ослабленными формами?» [38, с. 186].

Хотя в некоторых языках, как, например, в греческом, этот же корень действительно встречается в безударной позиции в качестве неопределенного местоимения, тем не менее мы знаем, что неопределенные местоимения восходят к вопросительным, но не наоборот. Более того, ниже мы увидим, что в вопросительном значении этот корень широко распространен и в евразийских языках. Другим примером является наст. время 1 л. глагола «быть», который в западнославянском проявляет рефлексы исходного \**is-mi*. Если акцентуированный характер индоевропейского корня в какой-либо грамматической категории и является несомненным, то такой категорией следует признать активную форму презенса единственного числа глаголов на *-mi*. Здесь необходимо также отметить, что Гамкрелидзе

и Иванов в отношении цитированных выше санскритских форм на *i*, а именно, *śiras* «голова» и *śikvan* «умный», пишут, что эти примеры *i* не могут свидетельствовать о *schwa secundum*.

Исходя из всего этого, в данной работе отстаивается мнение, согласно которому имелись не только независимые фонемы *i* и *u*, но и их чередование с *e* и *o* соответственно. Этот взгляд в настоящее время уже полностью принимается рядом индоевропейцев, в том числе Мельничуком [39], Палмайтисом [40], а в последнее время и Спирсом, который не ссылается на вышеназванных авторов. Рассматривая чередование *i ~ e*, Спирс отмечает, что «оно охватывает многие формы, вокализм которых всегда представлял непреодолимые трудности для объяснения в рамках традиционной теории» [41].

Чередование *i ~ e*, несомненно, является намного более частым, чем *u ~ o*, как можно предположить и на основе общетипологических соображений, поскольку оно включает гласные, статистически в целом более обычные. В моих индоевропейских сопоставлениях я буду рассматривать главным образом чередование *i ~ e*.

Другое важное наблюдение было сделано много лет назад Педерсеном [42]. Оно заключается в том, что, вопреки утверждению Хьюбшмана, цитированному выше, *i* и *u* действительно могут исчезать. Это согласуется с положением, согласно которому количественный аблаут представляет собой более позднее явление, чем качественный, что было установлено Куриловичем [43] и на что по крайней мере намекал уже Соссюр [44, с. 135], исходя из того, что если условия для нулевой ступени количественного аблаута в большинстве случаев ясны (отсутствие акцента), этого нельзя сказать о качественном аблауте. Действительно, хотя попытки объяснить последний на внутренней почве индоевропейского постоянно терпели неудачу, среди многих индоевропейцев по-прежнему сохраняется вера в существование «доаблаутного периода». Несомненно, все имеет свое начало, однако по причинам, которые разъясню ниже, я считаю, что качественный аблаут, обычно символизируемый чередованием *e ~ o*, был частью более обширной системы чередований, восходящей к евразийскому периоду.

Из сказанного выше следует, что некоторые индоевропейские корни, реконструированные с корневым гласным *e*, должны содержать *e*, восходящее не к *e ~ o*, а к *e ~ i*. Эти последние обнаруживают тенденцию к чередованию только с *i*. Что же касается чередований с *o*, то обнаруживаются только единичные примеры этого явления либо полное их отсутствие. Одним из таких корней является *es-* «быть». Мы уже упоминали западнославянскую форму для 1 л. ед. ч. наст. времени *is-mi*. От того же корня в церковнославянском мы находим *istъ* «истинный» и *istina* «истина». Имеется также греческий императив 2 л. ед. ч. *ishhi*. За пределами индоевропейских языков ср. корейск. *it-*, которое является поздним развитием *isi-* «быть, существовать, оставаться» [45]. В ительманском языке, образующем генетическую группу, отличную от других чукотских (чукотско-корякских) языков, имеется вспомогательный глагол *is* «быть» [46], который в условиях действующей в этом языке гармонии гласных по подъему имеет вариант с нижним гласным *es*<sup>5</sup>. В айну имеется негативный гла-

<sup>5</sup> Тем не менее в недавнем описании ительменского языка Володин приводит сходный вспомогательный глагол *el*, конечный согласный которого является глухим латеральным фриктивом [47]. В этом видно проявление диалектной дифференциации, поскольку описание Богораза основывается на хайрюзовском диалекте, тогда как Володин описывает напонский диалект; это — два различных ительменских диалекта.

гол бытия *isam* «не имеется», анализируемый, по-видимому, как *is-* «быть» и *-am* — отрицание. Есть в айнском и глагол *isu* «быть».

Поскольку мы признаем, что основными альтернантами основы являются *tis*, *es* и *s*, то проблема индоевропейского *s*-аориста может получить достаточно удовлетворительное и логичное разрешение. Образование прошедшего времени путем суффиксации глагола в значении «быть», несомненно, засвидетельствовано достаточно широко. Относительно латинского принято считать, что окончания перфекта 2 л. ед. и мн. ч. *is-ti* и *is-tis* содержат аористный *-s-* и происходят из *-is-*, который наличествует также в перфектном инфинитиве *dix-isse*, плюсквамперфектном индикативе *dix-eram* и плюсквамперфектном конъюнктиве *dix-issem*. Тем не менее они должны быть, согласно общепринятой теории, отделены от форм глагола «быть» *esse*, *eram* и *essem*, которые восходят к *es-*. В греч. \**ēweid-e(s)a* «я знал», традиционно считающемся плюсквамперфектом, уже Бругман усматривал аорист на *-es-*. В санскритском аористе на *-is-* *i* не может восходить к *schwa*, поскольку в других случаях ему соответствуют рефлексы *a*. Санскритское *i*, без сомнения, распространилось в *seṭ*-корнях по аналогии.

Другим евразийским корнем, содержащим чередующиеся *e ~ i*, является индоевропейская форма, обычно реконструируемая в виде *deik-* «показывать, указывать». Базовым значением является, видимо, «указательный палец», откуда метонимически — «указывать». Вероятным производным от этого корня является лат. *digitus* «палец». Помимо обычно цитируемых полной ступени *ei* и нулевой ступени *i*, отмечается сохранение *e* в нескольких греческих формах, которые не могут быть удовлетворительным образом объяснены. Основа глагола в форме *dek-* хорошо засвидетельствована как в литературном ионическом, так и эпиграфически в Хиосе и Милете [48]. По поводу этих форм хранят молчание как Швицер в своей грамматике, так и Фрикс в этимологическом словаре [49]. Байи в своем словаре просто пишет, что в ионическом *i* корневого *ei* утратилось, тогда как *e* основы сохранилось [50]. Однако это всего лишь описание, но не объяснение. Преллвитц говорит, что аблаутная пара *e : ei* заменила более старое чередование *i : ei* [51], тогда как Шантрэн признает, что это чередование необъяснимо [52]. Предполагаемую замену формы *dik* на *dek* Гофман считает невозможной и замечает, что у него нет на этот счет собственной гипотезы [53]. Бак пишет, что ионическое *deknūmī*, возможно, является контаминацией *deik-* и *dik* [54]. Это лишь некоторые случаи, когда этимологи просто оставляют чередования *e ~ i* или *o ~ u* необъясненными, либо игнорируя их, либо выдвигая гипотезы *ad hoc* <sup>6</sup>.

Кроме того, Богораз в своем описании не выделяет никакого глухого латерального. Вполне вероятно, что эти две формы восходят к единой форме \**es ~ is*, но это всего лишь предположение. Богораз упоминает целый ряд чередований между латеральными и сибилантами.

<sup>6</sup> Помимо хорошо известных случаев греческих чередований *e ~ i* и *u ~ o*, описанных в работах Гюнтерта, Мельничука и других авторов, следует упомянуть еще два примера. В обоих случаях мы имеем дело с довольно очевидными с точки зрения семантики этимологиями, которые даже не упоминаются, поскольку в них содержится «запрещенные» чередования. Хотя обе эти этимологии отмечены в лексиконе Лиделла и Скотта [55], о них умалчивается в более поздних переработанных изданиях под руководством Джоунза и Маккензи, которые знали, что индоевропейцами эти чередования не признаются.

Одним из таких примеров является *lēbēs* «котел, котелок», который в более ранних изданиях производится из *leibein* «лить, выливать». У этого глагола нет временной формы на *oi* и имеется ряд примеров наличия у него *i*-ступени, ср. *libās* «ключ, родник», *lēps* тж., *libádion* «маленький ручей», *lēbos* «капля крови». Единственным примером *oi*

Другим примером ступени *e* от этого же корня является хет. *tekussami*. В случаях вроде скр. *dis* «направление» и лат. *dicis causa* нет никаких оснований предполагать, что корневое *i* является редуцированным гласным. В евразийском эта форма всегда выступает в виде *tek* или *tik*, но никогда в форме *teik*. В эскимосском обнаруживается зап.-грнл. *tiki-q* «указательный палец» (*-q* — показатель абсолютива) со сходными формами в других эскимосских диалектах, как ютской, так и инуитской групп. В западно-грнландском имеется также производный глагол *tikkuagpaa* «он указывает на это». В айну находим *tek*, *teke* «рука» (Бэчелор), а Добротворский зафиксировал также *atiki* «пять». Из значения «палец» мы получаем и значение «один», благодаря употреблению пальца в качестве единицы счета. Сюда же относятся, вероятно, корейск. *teki* «один, парень, вещь», равно как и ряд тюркских форм, например, осман. *tek* «нечетное (число), только, единственный» и *teken* «один за одним», чуваш. *tek* «только, лишь», др.-тюрк. (уйгур.) *tek* «только, всего лишь» и т. д.

Третьим индоевропейским корнем, представляющим как внутренние, так и внешние свидетельства этого чередования, является *bher-* «нести». Ц.-слав. *břati* «братъ», наст. вр. *beru* «я беру» точно соответствует чукотскому глаголу в значении «братъ», который имеет варианты *per* ~ *pir*, обусловленные гармонией гласных по подъему. В чукотском имеется лишь единственный класс смычных. Сюда, возможно, относится и др.-тюрк. *bir*, осман. *ver* «братъ». Я рассмотрю это тюркское чередование ниже.

Четвертый важный пример снова находим в славянском, который в этом случае соответствует неиндоевропейским евразийским языкам. В косвенных падежах 1 л. ед. ч. — в инструментальном *mīnjr* и в дативно-локативном *mīnē* — появляется *i*, ср. *menē* в генитиве — аккумулятиве. Такая же вариация между формами основы на *e* и *i* обнаруживается в уральских и алтайских языках. Редей и Эрдель реконструируют *mi-nā* и *te-nā* как варианты финно-угорских форм местоимения «я» [57, с. 399]. В тюркской ветви алтайской семьи находим др.-тюрк. *ben*, *men* и *min* в качестве номинатива местоимения «я» и такие же варианты для этой основы косвенных падежей [58, с. 91]. В монгольском языке *bi* «я» в косвенных падежах чередуется с основой *min-*. В тунгусском совершенно такое же чередование, как и в монгольском.

является *loibē* «возливание» в отглагольном существительном, в котором ступень *o* является очень продуктивной в греческом. Фриск производит *lēbēs* из того же корня, что и *lebēris* «сброшенная кожа змеи»; Байи в своем словаре не дает никакой этимологии, тогда как Шантрэн отмечает, что этимология Фриска навряд ли удовлетворительна с семантической точки зрения. Он считает, что это слово может быть заимствованным. Хотя в качестве источника упоминалось евр. *keleb*, Шантрэн заключал свое мнение утверждением, что приемлемая этимология отсутствует. Соссюр цитирует редкую форму *libei* «он выливает» [44, с. 135], однако я не смог отыскать ее источника.

Другим примером является *tōkson* «лук (оружие)». Лиделл и Скотт [55] производят его из глагола *tunkhānō* (основа *tukh-*, как во втором аористе *étukh-on*), основное значение которого дается как «ударить», специально: «попасть в цель стрелой». Эта этимология уже была предложена Курциусом в 1858 г., до того, когда была установлена современная концепция праиндоевропейских вокалических чередований [56]. Форма *toukh* отсутствует, хотя имеется существительное *tukhē* «удача». Кроме того, у Пиндара встречаются эолийские формы вроде причастия *tōssais* и даже *epētosse* с точно таким же значением, что и аттическое *epētukhe* «столкнуться, встретиться с кем-либо». Эти пиндарические формы остаются совершенно необъясненными.

От попытки объяснить *tōkson* как производное от корня слова *téktōn* = скр. *takšan* отказались, так как в греческом ожидалось бы *kt*, а не *ks* < \**kþ*. Швицер принимает предположение Бенвениста о заимствовании его из скифского, а Шантрэн поддерживает эту мысль даже несмотря на то, что ему известно о наличии этого слова в микенском.

Имеется еще два дополнительных случая чередования  $i \sim e$  в рамках единой парадигмы, которые, в отличие от только что цитированного примера с *bher*  $\sim$  *bhir*, обычно реконструируются в качестве индоевропейских чередований. Одним из них является уже упомянутое вопросительное местоимение, основой единственного числа номинатива которого принято считать *kwi-* (общий род; в номинативе — *kwi-s*, в аккузативе *kwi-m*, в среднем роде — *kwi-d*), причем в косвенных падежах ед. ч. обычно реконструируется основа *kwe-*, за исключением локатива, ср., например, генитив *kwe-syo* [38, с. 269, 270]. В форме *kwei-* данная основа встречается только во множественном числе.

Далее, есть указание, свидетельствующее о наличии ступени  $i$  во множественном числе. Множественное число среднего рода *qui-a* сохраняется в латинском в качестве связки, а также во множественном числе датива-аблатива — *quibus*. Хеттский номинатив мн. ч. *kues*, пишущийся также в виде *ku-i-es*, обнаруживает ступень  $i$ . В лидийском два альтернанта развились в отдельную парадигму в качестве относительных местоимений *qi-* и *qe-* (в косвенных падежах, находим *qλ*, указывающее, возможно, на нулевую ступень). Эти примеры обычно пытаются объяснить следующим образом. Гусмани утверждает, что здесь либо произошло внутрилидийское изменение *qi*  $\rightarrow$  *qe* (что было бы единственным примером такого рода), либо *qe* восходило к *qei*, относительно чего нет ни малейших данных [12, с. 181]. Как я предполагаю, основа *kuei-*, которая засвидетельствована только во множественном числе, содержит тот же плюралистический  $-i$ , что и в указательном местоимении *toi* и т. д., и является либо исходной, либо, что более вероятно, представляет собой результат контаминации с последним. Истинно нулевой ступенью является, по-видимому, *ku-*, как, например, в скр. *kuha* «где?» и во многих сходных формах.

Другим важным примером реконструкции чередования  $e \sim i$  в праиндоевропейском является параллельный случай с основой указательного местоимения, усматриваемой в латинском номинативе ед. числа мужского рода *i-s*, для которого Семереньи [38, с. 268] реконструирует ед. число мужского рода номинатива *\*is*, аккузатива *\*im* и ед. число номинатива и аккузатива среднего рода *\*id*, контрастирующих с *\*e-* в косвенной форме генитива мужского рода *\*esyo* и в других падежных формах ед. числа. И опять основа *ei-* встречается только в формах мн. числа. Сам Семереньи оспаривает попытку принять чередование  $ei \sim i$  с последующей тематизацией в качестве исторически исходного, утверждая, что подобный процесс не имеет места ни в каком другом местоимении и поэтому должен быть отвергнут [38, с. 267]. Как вариативность *kwi*  $\sim$  *kwe*, так и чередование  $i \sim e$  широко распространены в евразийских языках. Обе формы обнаруживают внутриязыковую диалектную и межъязыковую вариативность. В некоторых языках, обладающих гармонией гласных, эти формы, как в уже приводившемся чукотском примере *pīr*  $\sim$  *per* «братья», обусловлены этой гармонией. Важность этого обстоятельства будет обсуждена ниже.

Что касается *kwi*  $\sim$  *kwe*, то оно может выступать в качестве независимого вопросительного местоимения «кто?» или «что?», во многих вопросительных наречиях, в виде «координатора» (ср. и.-е. *kwe*), а в некоторых языках и в качестве вопросительной или неопределенной частицы. В одной или в нескольких из названных функций эта основа встречается в каждой ветви евразийской семьи, включая уральскую, юкагирский, все три группы алтайской семьи, в айну, корейском, японском, нивхском, эскимосском и алеутском. Детальное рассмотрение всех этих случаев, требую-

щее отдельного изложения, будет обсуждаться в готовящейся мною публикации.

Однако здесь мы рассмотрим пример, когда индоевропейский маргинальный элемент, необъяснимый на индоевропейской почве, присутствует в некоторых евразийских языках в таком же оформлении и когда факты этих языков позволяют нам предвидеть по крайней мере возможное его объяснение. Имеется в виду форма, реконструированная в словаре Покорного в виде *\*kwene* [10, с. 641], которая встречается в индоиранском и германском в неопределенном или обобщающем значении. В обеих языковых группах она выступает в качестве суффикса интеррогативов. Среди примеров скр. *-cana* (например, в *kaś-cana* «кто-либо») и авест. *-cina* в сходном употреблении и значении. Из германских языков этот элемент обнаруживается в древнеанглийском, древнесаксонском и древневерхненемецком (*hwer-gin* «где-либо»), причем из-за частого употребления неопределенного местоимения в сочетании с негативом в древненорвежском (*hvergi* «нигде») оно приобретает негативную семантику. Покорный дает германскую праформу в виде *\*-yin* (с грамматическим изменением). Кроме того, нельзя игнорировать *i* в авест. *cina*, так как *i* везде соответствует инд. *i*. Санскритская форма с палатальным согласным восходит, несомненно, к *kwe-*. Ясно, что в таком случае первой частью является *kwe* ~ *kwi* и что она производна от корня *kwe* ~ *kwi*, известного в качестве обычного индоевропейского интеррогатива. Семантическое развитие вопросительных местоимений в неопределенные и обобщающие является обычным. Но что делать со вторым элементом *\*-ne*, *\*-n*, для которого, насколько мне известно, на индоевропейской почве не было предложено никакого объяснения? Однако обычные вопросительные местоимения в форме *ken* или *kin* широко распространены в евразийских языках. Можно привести примеры из финно-угорских, юкагирского, монгольского, нивхского, алеутского, эскимосского, а также, возможно, и из тюркских языков. Встречаются также и формы на *ke*, *ki*, например, ительм. *к?е* «кто?», венг. *ki* «кто?», саам. (кольск.) *ke* «кто?». Иногда формы с *n(a)* и без него встречаются в одной и той же парадигме, и из этих примеров становится возможным прийти к пониманию исходной функции *-n*, *-ne*. В финской подгруппе финно-угорских языков мы находим как *ke-*, так и *ken-*. Наиболее ясным представляется положение в ингрийском, где *ken* является номинативом ед. числа, тогда как ед. число косвенных падежей образуется на основе *ke*, а мн. числом номинатива является *ket*. В самом финском обычным номинативом является *ku-ka* (ср. *mi-kä* «что?»), однако архаичный номинатив ед. числа представлен в *ken*, причем основа *ken-* по-прежнему встречается в некоторых падежах в ед. числе, ср., например, *ken-en* (ген.), *ken-essa* (инессив) и т. д. То, что основой действительно является *ke*, подтверждается мн. числом номинатива *ke-t-ka*. В кольском саамском вследствие семантического развития, параллельного индоевропейскому, мы находим обобщающее местоимение *kene* «любой».

Историческая отделяемость *ke* и *ne* видна из того факта, что мн. числом этого обобщающего местоимения является *ke-g-ne*, где *g* > *k* представляет собой распространенный уральский суффикс дуальности или множественности, а также из того, что обычным вопросительно-личным местоимением является *ke*, форма мн. числа которого — *ke-g*.

В финском и других балто-финских языках находим *kin* или *ki* в качестве неопределенного суффикса, присоединяющегося к различным падежным формам основ вопросительных местоимений *jo-* или *ku-*, например, фин. *jo-ssa-kin* «где-либо». Я затрудняюсь сказать, является ли это



-*kin* заимствованием из германского. Мне не удалось найти какого-либо обсуждения этого случая в двух известных работах Томсона и Коллиндера, касающихся германских заимствований в финском.

В качестве простого вопросительного местоимения в финно-угорских языках чаще выступает *kin*, чем *ken* (ср., например, зырян. *kin*). Редее и Эрдель для прафинно-угорского восстанавливают *kin* ~ *ken* [57, с. 398].

В тюркских языках, за исключением чувашского, имеется *kim* в значении «кто?», чему в чувашском соответствует *kat*. Я не могу сказать, связан ли этот финальный *-т* с *п* других алтайских языков.

В юкагирском *kin* означает «кто?». В монгольском встречается *ken* «кто?», причем *-n* распространился на все формы ед. числа, однако форма мн. числа *ke-d* показывает, что *-n* является исторически отдельной морфемой.

В нивхском имеется энклитика *ha-gin* в качестве суффикса к интеррогативам с неопределенным или обобщающим значением, например, *aŋ* «кто?», *aŋ-ha-gin* «каждый, любой». Особенно часта она с отрицательными местоимениями. То, что это энклитика, видно из того факта, что она следует за флексийными показателями в интеррогативе, как, например, в *aŋ-ux-ha-gin* «от любого». Анализ энклитики *ha-gin* как сложения *ha* «быть» с *gin* является очевидным. Она может быть, в качестве показателя фокуса, присоединена к другим субстантивам, ср. *if-ha-gin*, где *if* означает «он/она», а в целом слово значит: «он/она, который есть». Использование связки с относительным местоимением, как в англ. *He who is...*, несомненно, является во многих языках частым способом фокусации. Путь семантического развития в обобщающий интеррогатив мне не ясен, хотя идентичность *ha-gin* в двух отмеченных употреблении очевидна, а использование его в целях фокусации становится более ясным благодаря этимологическому анализу.

Именно благодаря материалу эскимосского и алеутского языков становится ясной исходная функция этого элемента, используемого в качестве ед. числа абсолютива или, возможно, в качестве ед. числа номинатива в аккузативной системе в других языках. В эргативных системах эскимосского и алеутского *ki-na* в ед. числе абсолютива означает «кто?». Прочие падежи в аляскинском эскимосском построены на основе *ki-tum* с соответствующими образованиями в других диалектах. Дв. и мн. число строятся, соответственно, из основ *kin*, *kin-ku-k* и *kin-kut*. Отличительной чертой эскимосского в данном случае является то, что *-na* абсолютива ед. числа встречается не только в вопросительно-личном местоимении, но и в *su-na* «что?», а также в большом классе указательных местоимений, например, в *ta-na* «тот». В этих неинтеррогативных формах *-n* не встречается в дв. или мн. числе (ср., например, *ta-ku-k*, *ta-ku-t*), а ед. числом неабсолютивных основ является *ta-m*, из чего ясно следует, что *-na* — это маркер абсолютива ед. числа.

Ситуации в алеутском и эскимосском сходны в том отношении, что в значении «кто?» выступает *kin*, и эта основа используется для образования дв. (*kin-ku-k*) и мн. числа (*kin-ku-t*). Как и в эскимосском, форма с *-n* встречается также в демонстративах, но здесь она ограничена ед. числом, например, *wa-n* «этот», *wa-ku-k* (дуал.), *wa-ku-s* (мн. ч., неаляскинский диалект). В алеутском отсутствует флексивная система падежей, в связи с чем проблема косвенных основ здесь не возникает.

Помимо эскимосского и алеутского, единственной ветвью евразийского, в которой *-n* или *-na* обнаруживаются не только в формах личного воп-

росительного «кто?», является уральский, в котором реконструируется форма местоимения 3 л. \**se-n* < фин. *han*, мн. ч. *se-k*. И в этом случае отсутствие *-n* во мн. числе показывает, что *-n* не является частью основы.

Вывод, следующий из этого обзора фактов, заключается, очевидно, в том, что *-ne* в и.-е. *kwe-ne* первоначально являлось показателем как ед. числа абсолютива в эргативной системе, так и ед. числа номинатива в аккузативной системе. Функция его была, вероятно, ограничена вопросительно-личным местоимением, что характерно для всех языков, в которых оно встречается, а его появление в уральском *se-n* и эскимосско-алеутских указательных местоимениях является, видимо, результатом более позднего аналогического распространения.

Мы уже убедились, что обычная индоевропейская реконструкция анафорического и указательного местоимений (представленного, например, латинским *i-s*) предполагает чередование между *i-* в номинативе и аккузативе и *e-* в косвенных падежах ед. числа, параллельно тому, что было сказано относительно вопросительного местоимения *kwi-*. И в этом случае имеются многочисленные родственные формы в других группах евразийской семьи, которые, как и в индоевропейском, являются ближними дейксисами (ср. скр. *i-y-am* «этот») или местоимениями (типа лат. *i-s*). Дальнейшее типологическое изменение довольно близко к тому, что часто наблюдается во многих пиджинах, возникших на основе английского языка, в которых, например, *hitem* < *hit him* просто значит «ударь», а *-m* вполне обычно используется в качестве показателя транзитивности. Такое развитие, которое, как мы увидим, является переходной стадией на пути к преобразованию в чисто транзитивный маркер, будет обсуждаться ниже в связи с нивхским и айнским материалом.

В уральских языках имеется ближний дейксис, который, как и в индоевропейском, обнаруживает вариацию между *e* и *i*. Это можно проиллюстрировать на примере венгерского *e-(z)* «этот» (ср. *a-z* «тот»), но *i-tt* «здесь». Последнее слово имеет диалектную форму *e-tt*. Коллиндер не только сближает уральские и индоевропейские формы, но приводит в качестве подтверждения также и сходное вокалическое чередование [59]. Сетяля произвел аналогичное сопоставление между уральским и индоевропейским материалом, констатируя, что здесь не может быть случайности [60]. В колымском диалекте юкагирского, одном из двух сохранившихся близкородственных диалектов этого языка, *-i* образует 3 л. ед. ч. презенса-протерита непереходных глаголов. В том же классе глаголов оно встречается и в будущем времени на *t-i*, где *t*, несомненно, показатель будущего времени.

Во всех трех группах алтайской семьи языков \**i* выступает в роли местоимения 3 л. ед. ч. В тюркских языках оно сохранилось в виде посессивного суффикса *-i ~ u* (передний и задний варианты в системе вокалической гармонии) существительных, оканчивающихся на согласные, например, тур. *ev-i* «его, ее дом». Как и в индоевропейском, оно встречается также в наречиях с семантикой ближнего дейксиса, например, сагайск. *i-dä* «здесь». Эта последняя форма разительно напоминает скр. *i-ha* < \**i-dha* «здесь». В монгольском оно встречается в независимом местоимении 3 л., но только в косвенных падежах (ср., например, класс. монг. *i-mada* «ему/ей»). Исходя из этого, монголисты реконструируют \**i* и полагают, что в этой форме ранее оно существовало в номинативе. В монгольском фиксируется также наличие варианта с *e*, ср. класс. монг. *e-ji* «делать это», что можно сопоставить с *te-ji* «действовать таким образом» и *je-ji* «что делать?». Начальные компоненты двух последних форм имеют

очевидные соответствия в индоевропейском и, можно добавить, в ряде других групп евразийской семьи. В монгольском языке содержатся дополнительные свидетельства наличия *e* в указательном местоимении *e-ne* «это» (мн. ч. *e-de*).

Ситуация в тунгусском схожа с соответствующей ситуацией в монгольском в том, что *i* в качестве анафорического местоимения в номинативе не сохраняется. Исключением является маньчжурский язык, так как в нем *i* сохраняется в качестве показателя номинатива местоимения 3 л. ед. ч. Форма с гласным альтернантом *e* обнаруживается в тунгусском указательном местоимении, реконструированном Бенцингом в виде *\*e-(ri)* «этот» [61, с. 106]. Справедливость такого анализа удостоверяется сравнением тунгусского *ta-(re)* «тот» с монгольским *te-re* «тот», во мн. ч. *te-de*. Субстантивизирующий суф. *re* ~ *ri* встречается также в ай-нском *a-ri* «тот» и японском *ko-re*, *so-re* и т. д. в значениях «этот, тот».

В функции ближнего дейксиса в корейском выступает *i*, которое предшествует определяемому им существительному. Оно сохраняется также в наречии *i-mi* «сейчас». В японском, в дополнении к другим возможным случаям, которые не будут здесь рассматриваться, оно встречается в наречии *i-ma* «сейчас» (ср. приведенное выше корейское *i-mi*). В японском *ma* выступает и в качестве независимого существительного, обозначающего пространство или время.

Во всех диалектах нивхского имеется префикс *i-* в функции посессива 3 л. ед. ч. Тот факт, что консонантная ступень начального согласного существительного представлена звонким смычным, тогда как основная форма его — глухой неаспирированный (ср., например, *kan* «собака», *i-gan* «его/ее собака»), показывает, что мы имеем дело с назальной ступенью в системе, типологически чрезвычайно близкой соответствующей системе в кельтском. Она восходит к *\*i-n-gan* с генитивным *n*, широко распространенным в евразийских (и других) языках, что мы не будем здесь иллюстрировать. Вариант *e-* в системе вокалической гармонии выходит из употребления, встречаясь только в нескольких существительных [62]. В сахалинском диалекте местоимением 3 л. ед. ч. номинатива является *i*, тогда как в амурском диалекте оно осложнено суф. *-f*. Это *i*, в соответствии с действующим в нивхском языке правилом вокалической гармонии по подъему, функционирующим только в немногих конструкциях, преобразуется в гласный нижнего подъема. Например, датив в сахалинском диалекте — *e-ri* < *\*e-tox*, ср. в амурском диалекте *if-tox*. Типологически наиболее интересным развитием в нивхском представляется то, что префигированный объект переходного глагола находится в процессе превращения в показатель переходности. Это имеет отношение лишь к отдельному, но важному классу глаголов. Согласно этому правилу, чередование *e* ~ *i* (в зависимости от правил сингармонизма по подъему) имеет место в том случае, если имеется объект, не выраженный в предложении, но он отсутствует, если объект выражен эксплицитно.

Например, в предложении «Он пришел, поел и ушел» «поел» будет иметь префикс *i-* (*i-n-d'*, где *d'* служит для выражения индикатива). Если, однако, объект выражен (например, «он поел мясо»), то формой глагола будет *ni-d'*, где обнаруживается рефлекс ранее существовавшего верхнего гласного основы *ni-*. Поскольку чередование *e* ~ *i* имеет место только в переходных глаголах, то есть возможность его реинтерпретации в качестве выразителя переходности, причем эти гласные альтернанты могут стать частью глагольной основы.

Именно это, согласно Бэчелору, произошло с альтернирующим *e* в ай-

ну, где *e*, по автору, является префиксом, преобразующим непереходные глаголы в переходные, например, *mik* «лаять», *etmik* «лаять (на кого-либо)». Однако в словаре Бэчелора имеется отдельная словарная статья, которая, кажется, указывает на сохранение этого аффикса в его предположительно более раннем употреблении в качестве показателя 3 л. объекта как при наличии, так и при отсутствии объектного существительного (ср. *seta e-ikka* «собака стащила это», *ainu seta e-ikka* «человек украл собаку»). Имеется и альтернант *i-*, который, согласно Рефсингу, является, как он его называет, псевдоинтранзитивом [22]. Описываемое им правило точно соответствует аналогичному правилу в нивхском, а именно, что чередование *e ~ i* употребляется для характеристики неопределенного специфического объекта в случае, если объектное существительное в предложении отсутствует; но оно не представлено, если существительное выражено эксплицитно.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что чередование *e ~ i* следует датировать общеевразийским уровнем, и что в определенных языках эти два гласных выступают в качестве альтернантов в системе вокалической гармонии по подъему.

Сначала мы рассмотрим ряд подобных систем и ту роль, которую играет в них чередование *e ~ i*, а также природу явления, проявляющегося тогда, когда эти (и, кстати сказать, любые другие) системы гласного сингармонизма разрушаются. В качестве первого примера возьмем чукотскую семью языков. В целом для всех языков этой семьи характерна одна и та же система, что видно на рис. 1.

|                 |          |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| Верхний подъем: | <i>i</i> | <i>e</i> | <i>u</i> |          |
| Нижний подъем:  | <i>e</i> | <i>a</i> | <i>o</i> | <i>ə</i> |

Рис. 1. Чукотская система гласных

Общим правилом, имеющим, однако, несколько незначительных исключений, является то, что все гласные в слове должны быть верхнего подъема или *ə*, либо нижнего подъема или *a*. Следовательно, *ə* является нейтральным гласным. Однако почти во всех случаях имеется возможность различать лежащий в основе *ə* его верхний либо нижний вариант вследствие того, что *ə* представляет собой результат фонетической редукции гласных. Условия, в которых имела место эта редукция, невозможно установить, поэтому исторически *ə* может восходить к исходной паре гласных, различавшихся по подъему, которые позднее слились в одном звуке. Богораз в своем описании чукотского языка на фонетическом уровне отличает верхний коррелят *a* (который он обозначает в виде *ā*) от нижнего коррелята *i*.

|                 |          |          |          |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Верхний подъем: | <i>i</i> | <i>ā</i> | <i>u</i> |
| Нижний подъем:  | <i>e</i> | <i>a</i> | <i>o</i> |

Рис. 2. Чукотская система гласных (по Богоразу)

Из двух ступеней подъема нижняя является доминирующей в том отношении, что если какая-либо морфема в основе или аффиксе содержит нижний гласный, то последний вызывает преобразование всех верхних гласных в нижние. Примером этому служит слово со значением «земля», которое в ед. числе абсолютива выступает в виде *nutenut* (редуплицированная форма), тогда как в ед. числе аблатива находим *notajpə*, где исходный нижний гласный *a* (в *-ajpə*) вызвал преобразование в сторону нижнего подъема исходного *u* основы *\*nut-* → *not-*.

Средне- и древнекорейский обладали сходной с чукотской системой вокалической гармонии по подъему. В современном литературном корейском и почти во всех диалектах эта система разрушилась, сохранив, однако, некоторые реликты, которые мы рассмотрим ниже.

Древняя система гармонии по подъему, восстановленная для корейского языка XV в. Хайатой [63], показана на рис. 3.

|              |          |          |          |          |           |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Женский ряд: | <i>e</i> | <i>Y</i> | <i>u</i> |          |           |
| Мужской ряд: | <i>a</i> | <i>Λ</i> | <i>o</i> | <i>i</i> | (средний) |

Рис. 3. Раннекорейская система гласных

Принцип деления гласных на «женский ряд» для верхней ступени и «мужской» для нижней, который, как мы можем видеть, доминировал в чукотском, встречается и в ряде других восточноазиатских языков. В современном литературном корейском, как мы уже знаем, эта система была разрушена, однако пережитки ее сохраняются в вариантных формах, ономатопеях, часто в редуцированных словах, называемых в словаре Мартина, Ли и Чанга тяжелыми и легкими изотопами для, соответственно, верхнего (женского) и нижнего (мужского) вариантов [64]. Примерами служат *solsol*, *sulsul* «мягко текущий; мягко, нежно» и *katak*, *ketek* «сырой, влажный». Есть также нередуцированные варианты, такие, как *tas* и *tes*, значащие «вкус, аромат». Кроме того, имеется достаточное количество случаев, когда в одном диалекте удерживается один вариант, а в другом диалекте — второй. Например, суффикс настоящего времени в севернокорейском звучит как *-ki-*, а в южнокорейском — *ko* [16, 1, с. 34].

Все исследователи нивхского языка согласны с тем, что некогда в нем имелась полноценно функционирующая система гласного сингармонизма по подъему. Помимо рассмотренного выше показателя 3 л. *i* есть значительное количество ее пережитков в классификаторах числительных. Как показано на рис. 4, эта система может быть легко восстановлена, причем в ней отсутствуют нейтральные гласные.

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| <i>i</i> | <i>Y</i> | <i>u</i> |
| <i>e</i> | <i>a</i> | <i>o</i> |

Рис. 4. Нивхская система вокалической гармонии

Тем не менее в дополнение к функционированию подобной системы в объектном показателе 3 л. *e* ~ *i* и к значительному числу реликтов в системах классификаторов числительных имеется довольно много случаев, когда из двух основных диалектов, представленных в словаре Савельевой, один вариант сохраняется в первом диалекте, а другой во втором. Некоторые примеры даны ниже.

| Амурский диалект | Сахалинский диалект |                |
|------------------|---------------------|----------------|
| <i>tyk</i>       | <i>tak</i>          | «быть горячим» |
| <i>park</i>      | <i>pyrk</i>         | «только»       |
| <i>nik</i>       | <i>nek</i>          | «недавно»      |
| <i>mut</i>       | <i>mot</i>          | «подушка»      |

Первый пример представляет собой наиболее обычный тип. Во многих формах амурский диалект содержит *Y* там, где в сахалинском имеется *a*.

В дополнение к этим случаям междиалектной вариации имеются при-

меры, в которых оба варианта представлены в обоих диалектах семантически дифференцированно. Сюда относятся такие примеры, как *lʉx* «грозовая туча», *lax* «дождь», а также *vi-(d')* «идти», *ve-(d')* «бежать». Другой пример — *noʉ* «быть ароматным», *niʉniʉ* «пахнуть» (перех.). Этот последний пример особенно интересен, так как он показывает возможность использования сохранившихся вариантов в грамматических целях, в данном случае — для выражения переходности.

И в других случаях, когда мы имеем дело с разрушенной исходной системой вокалической гармонии, выявляются очень схожие явления, как например, в иранизированном узбекском и в южномонгольских языках. Здесь мы не будем рассматривать эти случаи.

Как явствует из предыдущего изложения, индоевропейские варианты  $i \sim e$ ,  $e \sim o$ ,  $u \sim o$  обнаруживают те же черты междиалектной и межъязыковой вариации, семантической дифференциации и встречающиеся порой случаи грамматикализации, которые характерны для языков с ранее действующими системами гармонии гласных. Более того, в двух из названных пар,  $i \sim e$  и  $u \sim o$ , совершенно определенно можно усматривать соотносительное различие по подъему. Ряд индоевропейцев, принимая во внимание типологически не закономерную позицию *a* — в том виде, в каком ее обычно реконструируют — а также то обстоятельство, что в большинстве языков ее рефлекс идентичен рефлексам *o*, высказали предположение, что чередование  $e \sim o$  следует реинтерпретировать в виде  $e \sim a$ . Если это будет принято, тогда мы можем реконструировать прединдоевропейскую вокалическую систему с действующей в ней гармонией по подъему в том виде, как это показано на рис. 5 (за вычетом чукотского редуцированного гласного, она идентична системе, представленной на рис. 2):

|                 |          |                             |                      |
|-----------------|----------|-----------------------------|----------------------|
| Верхний подъем: | <i>i</i> | <i>e</i>                    | <i>u</i>             |
| Нижний подъем:  | <i>e</i> | <i>a &lt; o<sub>1</sub></i> | <i>o<sub>2</sub></i> |

Рис. 5. Предполагаемая индоевропейская система гласного сингармонизма

Здесь мы высказываем предположение, что имеется определенное число индоевропейских корней с «устойчивым *o*» (здесь *o<sub>2</sub>*), которое, как это было указано рядом индоевропейцев, начиная еще с Соссюра [44, с. 135], не чередовались с *e*. В их числе корни таких слов, как «восемь» (лат. *octo*), «напротив» (лат. *pro*) и «свинья» (лат. *porcus*), в которых *o* никогда не чередуется с *\*e*. Можно, конечно, возразить, что такое чередование могло иметь место ранее, однако я считаю, что встречаемость гласного в ряде изолированных основ существительных делает это маловероятным.

Многие видные индоевропейцы хотели вовсе элиминировать традиционное *\*a* либо предлагали считать, его поздним результатом процесса «заполнения клеток» в словах с экспрессивной семантикой, например, в словах, обозначающих дефекты, как в лат. *laevus* «левша» и *caecus* «слепой», *\*a* возводили также к *e* в соседстве с *H<sub>2</sub>*. Однако я не решаюсь его полностью исключить. Он может представлять собой нейтральный гласный, полученный в результате доисторического слияния четвертой пары сингармонических вариантов. В начальной части статьи мы отметили соответствие *a* в и.-е. *al(i)-* «другой, второй» со схожими формами в других евразийских языках. Другим возможным примером является *\*anti* [10, с. 48—49] «напротив, противоположный» (ср. хет. *ḫanti*, которое может быть сопоставлено с корейским *anthe* в том же значении). В таком случае в корейской форме мы имели бы метатезу аспирации.

Я еще не затрагивал того обстоятельства, что в уральских языках, равно как и в тюркской и монгольской ветвях алтайской семьи, имеется скорее вокалическая гармония по ряду, чем по подъему. Все это сложные вопросы, и я только предварительно здесь их затрону. Относительно уральского следует отметить, что у самих уралистов нет согласия по поводу того, восходит ли эта система к прауральскому периоду или нет. Попытки реконструировать прауральскую систему гласных столкнулись с большими трудностями, и, на мой взгляд, здесь должно быть много исключений. Относительно реконструкции имеется два основных подхода. Сторонники одного из них, ассоциируемого с именем Штайнитца [65], отмечают широко распространенную уровневую альтернацию и поэтому допускают целую серию подобных чередований и в прауральском. Приверженцы другого подхода, представленного Итконеном [66], предполагают, что финский, с некоторыми отклонениями, сохранил прауральскую систему гласных и что в ней существовала гармония по ряду. В настоящее время уралисты отдают предпочтение именно этому взгляду.

Коллиндер, работы которого составляют основу для всех современных реконструкций прауральского языка, в том же томе, где содержатся первые реконструкции гласных начального слога (вне зависимости от того, подчиняется ли слово в целом переднерядной или заднерядной гармонии), относительно уральской системы гласных констатирует следующее: «Несмотря на пионерские работы Генетца, Лехтисало, Штайнитца и Э. Итконена, у нас пока еще нет ясной картины системы вокализма прауральского или прафинно-угорского языка» [67, с. 149]. Касаясь двух отмеченных выше теорий, несмотря на то, что его реконструкции в целом основываются на подходе Итконена, он делает следующее довольно красноречивое замечание: «Вполне правомерно делать вывод (вместе с Сетялой, Лехтисало и Штайнитцем) о существовании в прафинно-угорском или прауральском нескольких вокалических чередований. Но, с другой стороны, есть смысл и попытаться (вместе с Э. Итконеном) обойтись без этой гипотезы» [67, с. 151].

Мы уже убедились, что как Коллиндер, так и Реден и Эрдели допускают наличие чередований по подъему в нескольких случаях, включающих те самые формы, которые мы рассматривали в этой статье, а именно *ki ~ ke*, *kin ~ ken*, *i ~ e* и *min ~ men*.

Как я предполагаю, загадочная ремарка Педерсена, приводившаяся в начальной части данной статьи (см. [6, с. 308]), в которой он трактует уральскую гармонию по ряду в качестве инновации, а затем сравнивает индоевропейский аблаут «со многими другими случаями, когда невозможно найти объяснения на внутренней почве» в уральском, должна иметь отношение к межуровневым вариациям, уже изученным в новаторской работе Сетялы [68], в которой использовался подход, позднее встречающийся у Штайнитца и Лехтисало. На самом деле между двумя указанными подходами нет никакого противоречия, если предположить, что чередование гласных по подъему было более древним, тогда как гармония по ряду являлась уральской инновацией.

Несколько сходная ситуация наблюдается в тюркских языках (за исключением чувашского), где система гармонии по ряду (без нейтральных гласных, подобно тем, что были установлены для уральского), несомненно, является унаследованной.

Система гласных в том виде, в каком она встречается почти во всех тюркских языках и реконструируется также для прототюркского, представлена на рис. 6.

| Передний ряд |          | Задний ряд |          |
|--------------|----------|------------|----------|
| <i>i</i>     | <i>й</i> | <i>у</i>   | <i>и</i> |
| <i>e</i>     | <i>ё</i> | <i>а</i>   | <i>о</i> |

Рис. 6.

Тем не менее пример вариации между гласными верхнего подъема, приводившейся выше в отношении глагола в значении «давать» (др.- тюрк. *bir*: осман. *ver* «давать»), ни в коей мере не является изолированным. Так, даже внутри древнетюркского, который в диалектном отношении был гетерогенным (орхонские, енисейские надписи, уйгурские рукописи), многие слова, основа которых содержит *i*, имеют вариант с *e* без какой-либо регулярности соответствий. В общем в тюркских языках, как отмечает Менгес, между *e* и *i* наблюдается варьирование, «часто имеющее место в одном и том же диалекте данного языка» [69]. Некоторые авторы пытались объяснить это, предполагая наличие третьего гласного, среднего между *e* (часто пишущегося в виде *ä*) и *i*. Сходным образом, наряду с вариацией *e* ~ *i*, в древнетюркском имело место и спорадическое чередование по подъему между *a* и *у*, ср. *byrt-* и *bart* «ломать» [58, с. 49]. Тюркские языки демонстрируют также межъязыковую вариацию между *o* и *и*, ср. *sora*, *sura* «спрашивать», и между *ö* и *й* (ср. *söjla* и *süjla* «говорить»). Менгес [69] пишет, что такая вариация для алтайских языков является обычной.

В тунгусском, традиционно считающемся третьей ветвью алтайской семьи, все языки либо имеют систему гармонии по подъему, либо систему, исторически производную от нее. Бенцинг здесь восстанавливает четыре пары гласных, различающиеся в отношении подъема [61]. Русские исследователи заметили, что в ряде языков имеются различия по звонкости между рядом нижних гласных, называемых ими «твердыми», и рядом более высоких гласных, называемых «мягкими». Согласно сообщению Новиковой, в восточных диалектах эвенского твердые гласные являются фарингализованными [70].

Эвенская система гласных показана на рис. 7; количественные различия здесь игнорируются.

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| Мягкие  | <i>i</i> | <i>и</i> |
| Твердые | <i>i</i> | <i>и</i> |
| Мягкие  | <i>e</i> | <i>о</i> |
| Твердые | <i>a</i> | <i>о</i> |

Рис. 7. Эвенская система гласных

С типологической точки зрения эта система разительно напоминает многие вокалические системы языков Западной и Восточной Африки (например, акан, масаи). Исследователи показали, что здесь мы имеем дело с  $[\pm\text{ATR}]$ , т. е. с качественным различием гласных по признаку выдвинутости или втянутости корня языка. В тунгусских языках «мягкие» гласные должны обладать признаком  $+\text{ATR}$ , тогда как «твердые» гласные — признаком  $-\text{ATR}$ . К такому выводу я пришел самостоятельно и лишь позднее обнаружил, что Ард [71] пришел к нему еще раньше.

Как нам известно опять же из африканских языков (а к ним можно добавить и юго-восточноазиатские языки), системы с различием гласных по подъему исторически легко производны от систем, в которых имеется различие по признаку  $[\pm\text{ATR}]$ . Более того, четыре пары тунгусских гласных могут соответствовать чукотской системе с ее тремя парами гласных и с дополнительным нейтральным гласным (в основе которого



лежат верхние или нижние гласные), равно как и древне- и среднекорейской системе с ее тремя парами гласных плюс один нейтральный гласный *i*.

Тем не менее здесь, как это часто бывает в исторической лингвистике, возникают трудности. Поппе [15] и другие ученые, реконструируя протоалтайский, приравнивали передние гласные тюркских и монгольских языков к тунгусским гласным, наделенным признаком +ATR, а задние гласные этих языков — к тунгусским гласным с признаком — ATR. Я полагаю, что с учетом данных также и корейского и других евразийских языков система гласных, обладающая различием по признаку [+ATR], являлась исходной, тогда как контраст гласных по ряду в тюркских и монгольских языках является вторичным. Независимо от того, какая точка зрения оказалась бы верной, альтернация *i ~ e*, обсуждаемая в данной статье, должна была возникнуть из более высокого [переднего, +ATR] члена двух различающихся пар гласных, и поэтому она должна была обладать такими же, а не различными гармоническими признаками. Настоящая статья является лишь предварительной в этом направлении, и требуются дальнейшие усилия в этой очень сложной области исследования.

Цель настоящей работы состояла в том, чтобы показать чрезвычайную древность индоевропейского аблаута *e : o* (т. е. *e : a*), который представляет собой часть более обширной системы чередований, имеющей соответствия в специфических формах ряда других групп евразийской семьи языков. В частности, рассмотрено чередование *i ~ e*, главным образом на материале интеррогатива *kwi-* и ближнедейктического и анафорического *i-*.

Помимо этого, относительно индоевропейского окаменелого суф. *-ne*, представленного в неопределенном и обобщающем местоимении *kwe-ne*, предложена теория, согласно которой *-ne ~ na* в праевразийском первоначально представляло собой показатель ед. числа абсолютива или номинатива, ограниченный вопросительным и/или, возможно, указательным местоимением. Кроме того, можно показать, что нерегулярная дистрибуция гласных по языкам и даже диалектам одного и того же языка, а также появление пар гласных, входящих в систему сингармонических отношений по подъему, являются типичным результатом разрушения таких систем. Это особенно хорошо демонстрируется материалом нивхского языка.

Предположение о том, что индоевропейский аблаут *e : o* является остатком прежней системы гармонии гласных, было уже высказано Кравчуком [72], но он не дает ни каких-либо указаний относительно общей природы подобной системы, ни свидетельств в поддержку своей идеи.

Наконец, мы можем поставить вопрос, могут ли в индоевропейском сохраняться реальные пережитки предложенной системы вокалической гармонии? Подобное можно предположить относительно двух случаев. Одним из них является обычное хеттское неопределенное местоимение, в котором номинатив *kuis-ki* «кто?» контрастирует с генитивом *kuel-ka* и аблативом *kuez-ka*. Данный случай Кронассер рассматривает в качестве гармонической альтернации гласных [73], а это чередование определенно соответствует предложенной здесь системе. Тем не менее вариантное написание, вроде *kuis-ku* и *kuis-ka*, предсказывает вероятность того, что на самом деле номинатив представлен формой *kuis-k* (ср. лид. *qis-k*). Другим возможным примером является контраст между индоевропейским редупликативным гласным *i* в системе презенса и гласным *e* в пер-

фекте. Для объяснения этого явления, насколько мне известно, не было предложено никакой удовлетворительной теории. Гласный основы презенса *e* и основы перфекта *o* в данном случае находится в полном соответствии с системой вокалической гармонии, предложенной в настоящей статье.

В процессе исследования подчеркивался предварительный характер некоторых высказанных здесь предположений. Я бы добавил, что реальность евразийской группировки как языковой семьи не зависит от высказанных здесь гипотез. В пользу ее будет представлена масса лексических, а также дополняющих их грамматических свидетельств. И тем не менее разительное сходство в том, что касается вопросительного местоимения *kin* ~ *ken* в индоевропейских, уральских, юкагирском, монгольских, нивхском, эскимосском и алеутском языках, является веским свидетельством в пользу общего происхождения языков, в которых оно представлено.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Greenberg J. H. Language in the Americas. Stanford, 1987.
2. Greenberg J. H. Studies in African linguistic classification // Southwestern journal of anthropology. 1949—1950. V. 5—6.
3. Pedersen H. Türkische Lautgesetze // ZDMG. 1903. Bd. 57.
4. Pedersen H. The discovery of language: Linguistic science in the nineteenth century. Bloomington. 1931. P. 337.
5. Pedersen H. Zur Frage nach der Urverwandschaft des Indoeuropäischen mit dem Finno-Ugrischen // Mémoires de la société finno-ougrienne. 1933. 67.
6. Pedersen H. Il problema delle parentele tra i grandi gruppi linguistici // Acts of the third international congress of linguists (Rome, 1933). Florence, 1935.
7. Antilla R. An introduction to historical and comparative linguistics. N. Y., 1972. P. 320.
8. Cowgill W. Indogermanische Grammatik. Bd. I. Heidelberg, 1986. P. 13.
9. Иллич-Семтыч В. М. Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
10. Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern, 1959.
11. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков / Под ред. Цинциус В. И. Л., 1975—1977.
12. Gusmani R. Lydisches Wörterbuch. Heidelberg, 1964. S. 33.
13. Batchelor J. An Ainu-English-Japanese dictionary. 2-nd rev. ed. L., 1985.
14. Добротворский М. М. Айнско-русский словарь. Казань, 1875.
15. Poppe N. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Teil 1: Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, 1960.
16. Ramstedt G. J. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. Bd. 1—2, Helsinki, 1952.
17. Patrie J. The genetic relationship of the Ainu language. Hawaii, 1982.
18. Dolgopolskiy A. B. A long-range comparison of some languages of Northern Eurasia: Problems of phonetic correspondence // Proc. of the Seventh International Congress of anthropological sciences (Moscow, 1960). V. 5. Moscow, 1964.
19. Иллич-Семтыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Т. I. М., 1971.
20. Dolgopolskiy A. B. On personal pronouns in the Nostratic languages // Festschrift für Bj. Collinder. Wien, 1984.
21. Typology, relationship and time. / Ed. and transl. by Shevoroshkin V. V. and Markey T. Z. Ann Arbor, 1986. P. 50.
22. Refsings K. The Ainu language: the morphology and syntax of the Shizunai dialect. Aarhus, 1986.
23. Чейка М., Лампрехт А. Ностратичната ипoteза. Съвременното състояние и перспективи // Съпоставително езикознание. 9. София, 1984. С. 86.
24. Hübschmann H. Das indogermanische Vokalsystem. Strassburg, 1885. S. 193—194.
25. Güntert H. Indogermanische Ablautprobleme. Strassburg, 1916. S. 28—29.
26. Kretschmer P. Indogermanische Accent- und Lautstudien // KZ. 1896. Bd. 31. S. 378.
27. Brugmann K. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. 2-te Aufl. Bd 1. Strassburg, 1897—1916.
28. Leskien A. Handbuch der altbulgarischen Sprache. 5-te Aufl. Heidelberg, 1910. S. 17.
29. Senn A. Handbuch der litauischen Sprache. Bd 2. Heidelberg, 1966. S. 78.
30. Meillet A. Le Slave commun / Ed. par Vaillant A. P., 1934. P. 48.

31. Schwyzler E. Griechische Grammatik auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik. Bd 1. München, 1966. S. 135.
32. Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
33. Kurylowicz J. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
34. Szemerényi O. The new look of Indo-European reconstruction and typology // *Phonetica*, 1967. 17.
35. Mayrhofer M. Indogermanische Grammatik. Bd I. Heidelberg, 1987.
36. Schmidt-Brandt R. Die Entwicklung des indogermanischen Vokalismus. Heidelberg, 1973.
37. Baldi P. An introduction to Indo-European languages. Carbondale, 1983. P. 16.
38. Szemerényi O. Introducción a la lingüística comparativa. Madrid, 1978.
39. Мельничук А. С. О генезисе индоевропейского вокализма // ВЯ. 1979. № 5, 6.
40. Palmaris M. L. The new look of Indo-European declension: Thematic stems // *IF*. 1981. Bd 86.
41. Speirs A. G. E. Proto-Indo-European laryngeals and Ablaut. Amsterdam, 1984. P. 39.
42. Pedersen H. Zur Akzentlehre // *KZ*. 1904. Bd 39.
43. Kurylowicz J. L'indoeuropéen connaissait-il *u* à côté de *o*? // *Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacques van Ginneken*. P., 1937. P. 205.
44. Saussure F. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig, 1879.
45. Ramstedt G. J. A Korean grammar // *MSFOu*. 1939. 82.
46. Bogoras W. Chukchee // *Handbook of American Indian languages*. 2 / Ed by Boas F. Washington, 1922. P. 767—768.
47. Володин А. П. Ительменский язык. Л., 1976. С. 216.
48. Bechtel F. Die griechischen Dialekte. Bd 1—3. B., 1921—1924. S. 180.
49. Frisk H. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd 1—2. Heidelberg, 1960—1970.
50. Bailly M. A. Dictionnaire Grec-Français. P., 1895.
51. Prellwitz W. Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache. Göttingen, 1905.
52. Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. P., 1968—1980.
53. Hofmann J. B. Etymologisches Wörterbuch des Griechischen. München, 1950.
54. Buck C. D. Introduction to the study of Greek dialects. Boston, 1910. P. 45.
55. Lidell H. G., Scott R. A Greek — English lexicon. 8-th ed. N. Y. 1897. (9-th ed. Oxford, 1940).
56. Curtius G. Grundzüge der griechischen Etymologie. Bd. 1—2. Leipzig, 1858—1862.
57. Редеи К., Эрдели И. Сравнительная лексика финно-угорских языков // *Основы финно-угорского языкознания*. Т. 1. М., 1974.
58. Gabain A. Altürkische Grammatik. 2-te Aufl. Leipzig, 1950.
59. Collinder B. Hat das Uralische Verwandte? Eine sprachvergleichende Studie // *Acta Universitatis Upsaliensis*. 1968. № 1—4. S. 56—57.
60. Setälä E. N. Zur Frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen-samojedischen Sprachen // *JSFOu*. 1902. V. 30. № 5. S. 32—33.
61. Benzing J. Die tungusischen Sprachen. Versuch einer vergleichenden Grammatik // *Abhandl. der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaft und der Literatur Mainz*. 1955. № 11.
62. Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка. Ч. I. М.; Л., 1962.
63. Hayata T. A note on vowel harmony in Middle Korean // *Gengo Kenkyuu*. 1975. 68.
64. Martin S. E., Lee Y. H., Chang S.-U. A Korean-English dictionary. New Haven; London, 1967.
65. Steinitz W. Geschichte des ostjakischen Vokalismus. B., 1950.
66. Itkonen E. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe in Tscheremisschen und in den permischen Sprachen // *Finnisch-Ugrische Forschungen*. 1954. 31.
67. Collinder B. Comparative grammar of the Uralic languages. Stockholm, 1960.
68. Setälä E. N. Ueber den vorfinnischen Vokalismus // *JSFOu*. 1896. V. 14. № 3.
69. Menges K. The Turkish languages and peoples. Wiesbaden, 1968. P. 75.
70. Носикова К. А. Эвенский язык // *Языки народов СССР*. Т. 5. 1968.
71. Ard J. A sketch of vowel harmony in the Tungusic languages // *Studies in the languages of the USSR* / Ed. by Comrie B. Edmonton, 1981.
72. Крачук Р. В. Индоевропейский аблаут *e : o* — результат исчезнувшего сингармонизма? // *Типология и взаимодействие славянских и германских языков*. Минск, 1969.
73. Kronasser H. Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. Heidelberg, 1956. S. 48.

Перевел с английского Чурикова В. А.